In his poem “The Nature of Electricity” quoted by Kinbote (who imagines that he is Charles the Beloved, the last self-exiled king of Zembla) in his Commentary Shade mentions “Shelley’s incandescent soul:”

The light never came back but it gleams again in a short poem "The Nature of Electricity," which John Shade had sent to the New York magazine *The Beau and the Butterfly*, some time in 1958, but which appeared only after his death:

The dead, the gentle dead--who knows?--  
In tungsten filaments abide,  
And on my bedside table glows  
Another man's departed bride.

And maybe Shakespeare floods a whole  
Town with innumerable lights,  
And Shelley's incandescent soul  
Lures the pale moths of starless nights.

Streetlamps are numbered, and maybe  
Number nine-hundred-ninety-nine  
(So brightly beaming through a tree  
So green) is an old friend of mine.

And when above the livid plain  
Forked lightning plays, therein may dwell  
The torments of a Tamerlane,  
The roar of tyrants torn in hell.

Science tells us, by the way, that the Earth would not merely fall apart, but vanish like a ghost, if Electricity were suddenly removed from the world. (note to Line 347)

One of Shelley’s most famous poems is his sonnet *Ozymandias* (1818):

I met a traveller from an antique land  
Who said: Two vast and trunkless legs of stone  
Stand in the desert... near them, on the sand,  
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown,  
And wrinkled lip, and sneer of cold command,  
Tell that its sculptor well those passions read  
Which yet survive, stamped on these lifeless things,  
The hand that mocked them and the heart that fed:  
  
And on the pedestal these words appear:  
'My name is Ozymandias, king of kings:  
Look on my works, ye Mighty, and despair!'  
Nothing beside remains. Round the decay  
Of that colossal wreck, boundless and bare  
The lone and level sands stretch far away.

Ozymandias is the Greek name of the pharaoh Ramesses II who ruled Egypt from 1279 BCE to 1213 BCE. In *Tayna tryokh: Egipet i Vavilon* (“The Secret of Three: Egypt and Babylon,” 1925) Merezhkovski mentions *Ozimandiy, tsar’ tsarey* (Ozymandias, the king of kings):

«Я — Озимандий, царь царей. Кто хочет быть велик, как я, да узрит, где я покоюсь, и да превзойдёт создания мои», — так гласила надпись на одном колоссе, поверженном в Мемнонии (Диод. Сицил.).

Но от величия царя Озимандия не осталось даже имени. (“The End of Egypt,” IV)

In the same chapter of his book Merezhkovski mentions the sanctuary of Ptah, the supreme god of Memphis (who existed before all other things and, by his will, *thought* the world into existence):

Нет одного Египта, есть два: Нижний и Верхний, полуночный и полуденный. Красный и Белый, Сэтов и Озирисов (или Горов, потому что Гор — Озирис воскресший).

После поединка Сэта и Гора отец их, бог земли, Гэб, разделил между ними Египет поровну. «Так примирились они, сделались братьями и больше не спорили» (Roeder. Urkunden, 168).

«Примиритесь же, — говорит им богиня Изида. — Это лучше для вас, чем друг друга терзать. Воистину, бог Тот (бог меры) слёзы ваши высушит» (ib., 166).

Вот почему средоточие Египта — святилище Пта, Мемфисского верховного бога, именуется «Весами Обеих Земель»: на одной чаше весов — Египет Верхний, царство Горово, на другой — Нижний, царство Сэтово (ib., 168). И равновесие весов есть вечная недвижимость Египта. (ibid., XII)

In *Speak, Memory* VN describes his first love and mentions the sarcophagus of Nana, high priest of Ptah in the Hermitage:

The Hermitage, St Petersburg's Louvre, offered nice nooks, especially in a certain hall on the ground floor, among cabinets with scarabs, behind the sarcophagus of Nana, high priest of Ptah. (Chapter Twelve, 2)

In his essay on Merezhkovski, *Vlast’ idey* (“The Power of Ideas,” 1905), Lev Shestov quotes Zinaida Hippius’ poem *Elektrichestvo* (“Electricity,” 1902) the last lines of which are almost ten times quoted by Merezhkovski (Hippius’ husband) in his book “Tolstoy and Dostoevski:”

Две нити вместе свиты,   
Концы обнажены.   
То "да" и "нет" не слиты,   
Не слиты - сплетены.   
Их тёмное сплетенье   
И тесно и мертво;   
Но ждет их воскресенье,   
И ждут они его:   
Концы соприкоснутся,   
Проснутся "да" и "нет".   
И "да", и "нет" сольются,   
И смерть их будет свет.

…And “yes” and “no” will merge

And their death will be a light.

The name Shestov comes from *shest’* (six) and brings to mind Chekhov’s story *Palata No. 6* (“Ward Six,” 1892). In a letter of Nov. 25, 1892, to Suvorin Chekhov modestly compares it to lemonade:

Вас нетрудно понять, и Вы напрасно браните себя за то, что неясно выражаетесь. Вы горький пьяница, а я угостил Вас сладким лимонадом, и Вы, отдавая должное лимонаду, справедливо замечаете, что в нем нет спирта. В наших произведениях нет именно алкоголя, который бы пьянил и порабощал, и это Вы хорошо даете понять. Отчего нет? Оставляя в стороне «Палату № 6» и меня самого, будем говорить вообще, ибо это интересней. Будем говорить об общих причинах, коли Вам не скучно, и давайте захватим целую эпоху. Скажите по совести, кто из моих сверстников, т. е. людей в возрасте 30—45 лет дал миру хотя одну каплю алкоголя? Разве Короленко, Надсон и все нынешние драматурги не лимонад? Разве картины Репина или Шишкина кружили Вам голову? Мило, талантливо, Вы восхищаетесь и в то же время никак не можете забыть, что Вам хочется курить. Наука и техника переживают теперь великое время, для нашего же брата это время рыхлое, кислое, скучное, сами мы кислы и скучны, умеем рождать только гуттаперчевых мальчиков, и не видит этого только Стасов, которому природа дала редкую способность пьянеть даже от помоев. Причины тут не в глупости нашей, не в бездарности и не в наглости, как думает Буренин, а в болезни, которая для художника хуже сифилиса и полового истощения. У нас нет «чего-то», это справедливо, и это значит, что поднимите подол нашей музе, и Вы увидите там плоское место. Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение. У одних, смотря по калибру, цели ближайшие — крепостное право, освобождение родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные — бог, загробная жизнь, счастье человечества и т. п. Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас.

It is easy to understand you, and there is no need for you to abuse yourself for obscurity of expression. You are a hard drinker, and I have regaled you with sweet lemonade, and you, after giving the lemonade its due, justly observe that there is no spirit in it. That is just what is lacking in our productions — the alcohol which could intoxicate and subjugate, and you state that very well. Why not? Putting aside “Ward No. 6” and myself, let us discuss the matter in general, for that is more interesting. Let ms discuss the general causes, if that won’t bore you, and let us include the whole age. Tell me honestly, who of my contemporaries — that is, men between thirty and forty-five — have given the world one single drop of alcohol? Are not Korolenko, Nadson, and all the playwrights of to-day, lemonade? Have Repin’s or Shishkin’s pictures turned your head? Charming, talented, you are enthusiastic; but at the same time you can’t forget that you want to smoke. Science and technical knowledge are passing through a great period now, but for our sort it is a flabby, stale, and dull time. We are stale and dull ourselves, we can only beget gutta-percha boys, and the only person who does not see that is Stasov, to whom nature has given a rare faculty for getting drunk on slops. The causes of this are not to be found in our stupidity, our lack of talent, or our insolence, as Burenin imagines, but in a disease which for the artist is worse than syphilis or sexual exhaustion. We lack “something,” that is true, and that means that, lift the robe of our muse, and you will find within an empty void. Let me remind you that the writers, who we say are for all time or are simply good, and who intoxicate us, have one common and very important characteristic; they are going towards something and are summoning you towards it, too, and you feel not with your mind, but with your whole being, that they have some object, just like the ghost of Hamlet’s father, who did not come and disturb the imagination for nothing. Some have more immediate objects — the abolition of serfdom, the liberation of their country, politics, beauty, or simply vodka, like Denis Davydov; others have remote objects — God, life beyond the grave, the happiness of humanity, and so on. The best of them are realists and paint life as it is, but, through every line’s being soaked in the consciousness of an object, you feel, besides life as it is, the life which ought to be, and that captivates you.

Describing in *Speak, Memory* his ramblings with Tamara, VN mentions “repellently academic paintings by Shishkin:”

In the Russian Museum of Emperor Alexander III, two halls (Nos. 30 and 31, in its northeastern corner), harboring repellently academic paintings by Shishkin (“Clearing in a Pine Forest”) and by Harlamov (“Head of a Young Gypsy”), offered a bit of privacy because of some tall stands with drawings—until a foul-mouthed veteran of the Turkish campaign threatened to call the police. (Chapter Twelve, 2)

In a letter of Oct. 17, 1889, to Suvorin Chekhov says “if are served coffee, do not try to find beer in it; if I offer you the Professor’s thoughts, do not seek in them Chekhov’s thoughts:”

Если Вам подают кофе, то не старайтесь искать в нём пива. Если я преподношу Вам профессорские мысли, то верьте мне и не ищите в них чеховских мыслей. Покорно Вас благодарю. Во всей повести есть только одна мысль, которую я разделяю и которая сидит в голове профессорского зятя, мошенника Гнеккера, это — «спятил старик!» Всё же остальное придумано и сделано...

In the same letter to Suvorin (who hoped to find himself in Chekhov’s new play) Chekhov quotes the first part of the saying *rano ptashechka zapela, kak by koshechka ne s’yela* (it is too early to rejoice, things may end up badly; literally: “the bird began to sing too early, it can be eaten by the cat”):

Не радуйтесь, что Вы попали в мою пьесу. Рано пташечка запела.

Do not rejoice that you got into my play. Too early the bird began to sing.

*Ptashechka* is a diminutive of *ptakh*, an obsolete form of *ptitsa* (bird). In his essay *Asfodeli i romashka* (“The Asphodels and the Camomile,” 1908) Merezhkovski contrasts Chekhov (the Camomile) with the decadent writers (the Asphodels) and quotes Bunin’s story *Ten’ ptitsy* (“The Shadow of the Bird”) that appeared in the collection *Zemlya* (“Land,” 1908):

"Ах, никогда-то я не чувствовал любви к России и, верно, так и не пойму, что такое любовь к родине, которая будто бы присуща всякому человеческому сердцу. Я хорошо знаю, что можно любить тот или иной уклад жизни... Но при чём тут родина? Если русская революция волнует меня всё-таки более, чем персидская, я могу только сожалеть об этом. И воистину благословенно каждое мгновение, когда мы чувствуем себя гражданами вселенной".

Это говорит Бунин ("Тень птицы" в сборнике "Земля", 1908 г.), очень талантливый писатель; да нынче все талантливы, кажется, скоро, чтобы не быть, как все, надо будет не иметь таланта.

In his story Bunin says: “Blessed is every moment when we feel ourselves the citizens of the Universe.”

Shade’s poem begins as follows:

I was the shadow of the waxwing slain  
By the false azure in the windowpane. (ll. 1-2)

Kinbote believes that that, to be completed, Shade’s poem needs only Line 1000 (identical to Line 1). But it seems that, like some sonnets, Shade’s poem also needs a coda (Line 1001: “By its own double in the windowpane”).

In Chekhov’s story “Ward Six” the main character, a doctor, ends up in Ward No. 6 where the madmen are kept and where he is soon killed by Nikita (a coarse porter). “Tsar Nikita and his Forty Daughters” (1822) is a frivolous narrative poem by Pushkin. The princesses in Pushkin’s poem are beautiful, except that they lack something between their legs (just as the muse who, according to Chekhov, has an empty void under her robe). In a letter of December 1, 1826, to Alekseev Pushkin makes a reference to a line in “Tsar Nikita and his Forty Daughters,” *nichego il’ ochen’ malo* (nothing or very little), and mentions *nadezhda* (hope):

Был я в Москве и думал: авось, бог милостив, увижу где-нибудь чинно сидящего моего чёрного друга или в креслах театральных, или в ресторации за бутылкой. Нет — так и уехал во Псков — так и теперь опять еду в белокаменную. Надежды нет иль очень мало.

Pushkin’s letter ends in a little poem in which Pushkin asks Alekseev to please him not with an Arabian fairy tale but with the Russian truth:

Прощай, отшельник бессарабский,   
Лукавый друг души моей —   
Порадуй же меня не сказочкой арабской,  
Но русской правдою твоей.

Farewell, the Bessarabian hermit,

arch friend of my soul.

Make me glad not with an Arabian fairy tale,

but with your Russian truth.

The real name of Hazel Shade (the poet’s daughter) seems to be Nadezhda Botkin. An American scholar of Russian descent, Professor Vsevolod Botkin went mad and became Shade, Kinbote and Gradus (the poet’s murderer, the king’s double) after the tragic death of his daughter. Kinbote writes his Commentary, Index and Foreword (in that order) to Shade’s poem in a madhouse. There is a hope that when Kinbote completes his work on Shade’s poem and commits suicide (on Oct. 19, 1959, the anniversary of Pushkin’s Lyceum), Botkin, like Count Vorontsov (“half-milord, half-merchant… etc.”), will be full again.

In a letter of Oct. 15, 1889, to Suvorin Chekhov compares Dr. Botkin to Turgenev and Dr. Zakharyin to Tolstoy:

Что с Боткиным? Известие о его болезни мне очень не понравилось. В русской медицине он то же самое, что Тургенев в литературе... (Захарьина я уподобляю Толстому) — по таланту.

Turgenev is the author of *Ottsy i deti* (“Fathers and Children,” 1862). In Chekhov’s play *Chayka* (“The Seagull,” 1896) the critics compare the writer Trigorin to Turgenev. At the end of Chekhov’s play Treplev (a young author who envies Trigorin) shoots himself dead. The name Trigorin brings to mind Trigorskoe, Praskovia Osipov’s estate in the Province of Pskov near Pushkin’s country seat Mikhaylovskoe. *Tri* is Russian for “three.”

In a letter of Dec. 3, 1906, to E. W. Ellis (who admired Tolstoy’s article on Shakespeare and who thought that P. B. Shelley was England’s greatest poet) Leo Tolstoy mentions Shelley and Shakespeare:

Я совершенно согласен с вами относительно Шелли. Он не дал того, что мог бы дать и, конечно, дал бы миру. У него были самые возвышенные стремления, и он был всегда искренен и смел.

Рад был узнать, что вы согласны с моим мнением о достоинствах сочинений Шекспира.

Alexey Sklyarenko